

Алексей Пурин

ДОЛИНА ЦАРЕЙ

ШЕСТАЯ КНИГА СТИХОВ

АЛЕКСЕЙ ПУРИН

ДОЛИНА ЦАРЕЙ

ШЕСТАЯ КНИГА СТИХОВ

**Санкт-Петербург
2010**

Оле, с любовью

ДОЛИНА ЦАРЕЙ

УШЕБТИ

Стихи мои, фигурки глиняные,
в ларе таимые от глаз
чужих! Зловредные эринии-
зоилы позабыли вас.

И только десяти читателям
(и с каждым годом уже круг)
сундук, ничем не примечательный,
ваш виден: серп, тенета, лук...

Миролюбивые солдатики
(кто с топором, а кто с пилой)
из Нижней Мёзии, из Аттики,
из Тулы, скрытой вечной мглой, —
лишь вы на незакатных пажитях
трудиться будете — не я, —
мое единственное нажитое,
сухой остаток бытия.

* * *

В ларцы кедровые, как в кокон,
укрылось, куколкою став
(лишь иглы угольных волокон
да кристаллический состав),
то, что дышало и стяжало
до опечатанных дверей;
и золотое прячет жало
во лбу сияющий урей...

Открыт паноптикум музея -
и, любострастием горя,
толпятся зрители, глаза
на тело юного царя.
И я, развратный и презренный,
тесним горлающей толпой,
гляжу на этот облик тленный
и опозоренный покой.

И жду — расколется канопы,
и прынут лютые ветра,
и благодущные холопы
узнают гнев Небхепру-Ра:
вот он, Озирис Неизменный,
с бичом, змеящимся над ним,
ночная бабочка вселенной,
секирокрылый серафим!

* * *

Не важно — жива ли, мертва ли;
жив, умер — не всё ли равно:
те губы, что нас целовали
когда-то, истлели давно.

И всё то ночное горенье,
дневное смятенье — лишь прах,
хранящийся в стихотворенье,
как мумия — в прочных гробах.

Все трепеты наши — бумага,
бумага, слова и слова;
и этой рубашки имаго,
увы, не взметнет рукава.

Нам вечно не хватит смиренья
в матрешечной тьме разглядеть
просвет двуприродного зренья
и трансцендентальную твердь...

Читатель, о либер майн брудер,
бинты на виток отверни —
и щедро сверкнут изумруды
на смальте... но глубже — ни-ни!

Ведь маску не тот простофиля,
что ею сокрыт, изваял,
а знавший завет Теофиля:
бессмертно не я — матерьял.

* * *

Живую дрожь вложи в слова,
но так, чтоб плотью не распалась,
чтоб вызывала дрожь и жалость,
переносимая едва —
как мумия Тутанхамона;
используй смолы и бинты —
для сохранения тщеты
тебе, художник, нет закона!

Ты — тлен под маской золотой
в тройной матрешке саркофагов,
чей лик с твоим не одинаков
(вот смысл, до ужаса простой!);
и будет лучше, если страх,
скафандром скованный, не сможет
никто, покуда мир не дожит,
отрыть в египетских горах.

НАЗИДАНИЕ

Ничего не жалея ради сказочных этих находок,
поначалу незначущих — так, черепок, скарабей,
разгребая песок, как в песочнице, всем одногодок,
под ликующим солнцем, в Долине царей.

Не пройдет и пяти ослепительных лет — и ступени
поведут тебя вглубь; и песок, как в песочных часах,
потечет всё быстрее. Становись на колени —
и копай, находя статуэтки: вот — Атум, вот — Птах.

Наконец ты достигнешь заваленной мусором кладки.
Раздолби, трепеща от волнения, два-три кирпича —
и увидишь пространство, где вещи лежат в беспорядке
безначального мрака, впервые дождавшись луча.

Всё — тебе! Этот стульчик, и ларчик, и эта повозка,
и бесценная утварь, и эта ладья,
и вот эти игрушки из твердого воска...
Всё — твое!.. Да и эта канопа — твоя.

Но ты как бы не знаешь — и дел, поглядите, навалом:
нужно всё разглядеть, перетрогать, учесть, описать —
разобраться сперва с этим залом,
прежде чем на пороге второго тревожить печать.

А сокровища все настоящие — там, за стеною:
многоустые фрески, орущие в уши о Той
Пустоте, что таима пока скорлупой ледяною
и фольгой золотой.

* * *

Теперь туристы вместо коз
бредут на вылущенный Форум,
где так и не собрался кворум
небес, хоть мрамором пророс.
Не ройся в том, что стало сором.
Не трожь того, что улеглось.

Хоть лику Рима нелегко
под стовековым слоем грима,
не трожь коросты рококо —
проступит смерть необоримо.
Не козье, волчье молоко —
на языке у пилигрима.

И Диоскура Диоскур
давно не слышит из-за храпа
стальных коней. И мертв авгур.
И вряд ли белоснежный папа
так чист, где Гелиогабал
сирийских мальчиков ебал.

И пусть завравшийся профан
в наивной тешится гордыне —
его не тронет мертвый Пан
Святой Марии в Космедине:
коль *Vocca della Verita*
пусты — и Истина пуста.

* * *

Как серб с хорватом говорим,
сойдясь на том, что все боснийцы —
скоты, мерзавцы и убийцы...
Вокруг — Урарту, Древний Рим.

Ничто не вечно под луной,
за исключением зла и злобы —
что, в общем, надоест должно бы
уже давно коре земной.

(Сходи на выставку: вот тут
представлен найденный в суглинке
— не помню: янки или инки? —
для кожи содранной сосуд.)

И всё ж блажен, кто посетил
сей мир в любое, роковое,
мгновенье, видел мировое
соревнование Аттил!

Его, пускай — как снедь, на бал
кровавый свой призвали боги.
Спасибо им! Не будем строги,
ведь смертный — тоже каннибал.

Роятся ярые рои.
Гудят. Поди услышь другого!
В гуденье выродилось слово.
Гуди, терзайся и таи...

КОНЕЦ ИСТОРИИ

Перегрызал ли зуб больной
булыжник? Больше нет ни зуба,
ни камня. Общий выходной.
Не шах, а мат (и площадной!).
Прощай, История-голуба!

Прощай, зазноба! Твой озноб
мы знали. Будет всё теплее —
пока не вгонят гвозди в гроб
и Шар Земной не околеет.
Прощай, Язон! Прощай, Эзоп!..

И лишь Синдбады на коврах
летят из Персии, немного
смущая нас, внушая страх, —
как искры, как легчайший прах
дотла сгорающего Бога.

ПАРОХОД

Огромный пароход уже наполнил дымом
угрюмый порт;
к каким-то Лиссабонам, Лимам
вот-вот он, отдудев, уйдет.

Уж в мятых канотье взбираются по трапу
и в шляпках те,
кто, показав язык картузному сатрапу,
чуть что растают в пустоте.

Мне многие из них знакомы понаслышке —
всё высший свет;
и машет с крутизны приговоривший к вышке
себя завравшийся поэт.

Давай поторопись, всего одна минута —
и в путь, и в путь!
На этом корабле отыщется каюта
для нас уж как-нибудь.

И мимо островов Канарских и Азорских,
Бермуд, Багам
поедем, поплывем — не ради див заморских —
на пир, к богам.

Ни дар блистательный, ни честные старанья,
увы, плывущих не спасут —
нас небожители, как хищные пираньи,
сожрут, сожрут.

* * *

Дар божественный — лишь красота,
миловидность, пленительность лядвий;
и пока не оплачен — тщета,
непристойный соблазн ненаглядный.

Кто бы знал, как его оплатить,
чем вернуть это щедрое брашно?
Стоит жить? Или стоит не жить —
ослепительно, гнусно, бесстрашно

бросив жменю похмельной лузги
и легко расплевавшись со всеми?
Всё одно: не увидим ни зги,
Бог решит — шелуха или семя...

Что ж, лети! — всех на свете задев,
полыханьем посмертных скандалов
возбуждая стареющих дев
из московских журналов.

* * *

Трепетного, как ртуть,
чуждого мере, миру,
смастерившего лиру
Бога когда-нибудь
встречу: палящий лед
плоти не скрыть хламиде;
серные бездны видят
всё, что произойдет,
всё, что произошло
с нашей душою липкой;
над неживой улыбкой
кудри язвят чело.

Вот Он. И, ссы не ссы,
значит — наш час протикал:
чашечками тестикул
дрогнут Его весы;
что там в другой — стилет,
стилос, привитый змею? —
как я взглянуть посмею
в синий подземный свет,
в лунный бездонный день,
где, безутешно воя,
точно в чаду запоя,
бродит родная тень?

НАРЦИСС

Над ручьем склонившись, глядит в ручей —
и речей его нет горчей.

Он кричит: «Шепни мне — ты чей, ты кто?»

Эхо дразнит: «Ничей, никто».

Не встречал он в мире прозрачной глаз,
губ желанней, кудрей черней.

Смерть придаст его стонам такой эмфаз,
что не выразить страсть верней.

Ниже, ниже к воде неживой клонись,
бедный мальчик, сжимая пах, —

там, в ручье, трепещет сам Дионис.

Трепещи! — это сам Иакх.

А с богами в гляделки нельзя играть
и хотеть их лютую плоть —

потому что вправе с тебя содрать
отраженье свое Господь.

СТЕФАН ГЕОРГЕ

Дом в итальянском стиле. Побрякушки
его военнотружущих мальчишек.
Зеркальный Неккар — выгляни в окно.
Стихи не стоят ломаной полушки:
патетики и патоки излишек,
германский сумрак («вяло и темно»).

Ну, что-то там о греческих танцорах,
венцианских, что ли, карнавалах,
о белокурых бестиях. Талант,
пожалуй, был. Но декадентский порох
давным-давно заплесневел в анналах.
Снимался только в профиль: новый Дант.

Такая смесь Д'Аннунцио с Бальмонтом.
Казался то Вотаном, то инфантом.
К чему о нем я? — блеск его померк,
хотя с большим преподносился понтом.
В Муральто умер жалким эмигрантом...
Зеркальный Неккар, мирный Гейдельберг.

* * *

Тем — клониться к смерти, налегая
В темноте на тягостные весла,
Этим — жить под мачтой, у кормила,
Ведать птиц пути, черты созвездий.

Тем — весь век стенать в изнеможенье
У корней непросветленной жизни,
Этим — уготованы сосуды
Близ цариц-сивилл, провидиц-пифий,
И они там возлежат как дома,
С легким сердцем, с праздными руками.

Всё же темных тех существований
Тень на эти, светлые, ложится;
Легкий мир с тяжелым миром связан
Крепче, чем с землей и небесами.

Оттого не в силах с век стряхнуть я
Всех народов канувших усталость,
Дальних звезд безропотную гибель
От души испуганной упрятать.

Столько чуждых частей моею
В бытии изменчивом играют,
Что она едва ли только тонкий
Пламень или трепетная лира.

(Hugo von Hofmannsthal, 1895-1896)

ЙЕНА

«Йена — в прелестной долине Заале», —
мать написала изящной рукой
на обороте открытки, в курзале
купленной (лето, курортный покой);
как же давно растворилось всё это —
пальцы, перо, — утекло как вода, —
годы мечтаний, годы расцвета;
только слова эти здесь навсегда.

Нехороша, неказиста картинка —
больше старания, чем мастерства;
в скверной бумаге змеится ворсинка,
зелено небо, лилова трава;
но от домишек над речкою дивной
веяло негой живой и теплом —
кто бы смутился тут кистью наивной
и копииста смешным ремеслом.

Тайный призыв ли — как будто за нитку
дернули свыше, блаженство ли, блажь?.. —
мать попросила в курзале открытку,
так умилил ее здешний пейзаж;
и, повторяю, исчезло всё это, —
что и с тобой приключится, поверь,
в годы мечтаний и годы расцвета
видящим город в долине теперь.

(Gottfried Benn, 1926)

БЕРЛИН

Если парки, если скверы,
степью попранные, серы,
арки пущены в распыл,
замки веют пустотою
и под вражеской пятою —
прах отеческих могил,

то в одном не усомниться:
это место, словно львица,
возлежит — пускай в персти,
пусть в пустыне, но — в гордыне,
и любой его руине
голос Запада нести.

(Gottfried Benn, 1948)

ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ

Лев с ягненком и слон с бегемотом,
павианы, лемуры, жираф,
гиппогрифы к раскрытым воротам
мчатся скопом, лишённые прав.

И архангел, нагайкой свистая,
всех бегущих лисиц и куниц
гонит прочь из отверзтого рая,
исхлестав перепуганных птиц.

Аки помокру — рыбы на брюхе.
Всякой твари по паре живой.
И стрекозы, и осы, и мухи —
до последней бациллы чумной.

Тлеть и в муках рожать до скончанья!
И не нам, виноватым, а им,
не вкусившим от древа познания,
путь назад заказал Элогим.

* * *

Дождь над речкой — как счастье из лейки,
из желейки, как Божья роса,
как спасенье... И мнится улейке,
что открыты пути в небеса.

Нужно лишь постараться — и к раю-
морю двинуть по зыбкой струне...
(Я не знаю, зачем собираю
эти доводы, что они мне?)

А закончится ливень потопом
мировым — лишь махнуть плавником:
поделом этим тонущим скопом,
и не стоит жалеть ни о ком.

ПОТОП

И самого с женой, и с женами сынов
(и не забыть бы Ханаана!),
и всякой парной живности земной,
и птиц, и гадов (как ни странно,
про рыб не сказано) — и, нов,
отверзся мир из вод, очищенный от скверны,
и всё цветет,
и семицветной радугою свод
небес украшен беспримерной.
И Ной, не просыхая, пьет.

* * *

Памяти Е. А. Шварц

Старый и пьяный голландец в рубашке,
мятой и потной, известный поэт,
всё убеждал нас: не ждите побрякки —
Бога нигде, даже в бабочке, нет;
даже в листке, лепестке и букашке
(дескать, искал сам — и вот не нашел)
нет Его, нет, — и енейвер из фляжки
лил, кулаком ударяя о стол.

Вы не поверите!.. В жеваной, липкой,
выбившейся неопратно из брюк,
с полугримасою-полуулыбкой,
не выпуская жестянки из рук,
всё призывал расквитаться с ошибкой
вечной, — и булькала глотка, как люк —
после тех ливней, прозванных рыбкой...
Если б я понял тогда этот звук!

...Пить беспросветно в стране беспробудной,
что порученье исполнивший Ной,
глаз увлажняя трепещущей, чудной
радугой — зыбкой надеждой земной...
Как на платке — не забыть уговора,
в небе пустом завязал узелок —
наша единственная опора —
несуществующий видимо Бог.

* * *

И. М. Михайловой

Промокнув, в баре у канала
пить пиво, примостясь в толпе
орущих, словно не хватало
всю жизнь вот этого тебе:
сидеть за пазухой у Ноя,
курить, и пить, и слушать гам,
и видеть сквозь стекло хмельное
тритоном всплывший Амстердам...

Допить, и выйти, и вернуться
в ковчег, не обрета земли:
из бездн небесных хляби льются,
плывут — дома ли, корабли?..
И снова самым черным пивом
глушить неброскую тоску.
И снова выглядеть счастливым —
как и пристало голубку.

* * *

Григорию Кружкову

Мы гуляли по Дельфту, вернее — по раю,
словно в сказочный холст проскользнув невзначай.
Рай не в центре, где храм, — на окраинах, с краю:
там кувшинки плывут и цветет молочай.

Там семейства из одноэтажных домишек,
не смущаясь, выносят на улицу быт...
Ах, когда ж и отчизна Алешек и Гришек
обретет наконец человеческий вид?

И не в сытости дело, а в школьной задачке:
в том, чтоб холить большого и малого связь —
и, властителя чтя, не забыть о собачке,
что у ног его символом спит, примостясь...

Невесомых каналов развернутый веер
и фасады старинных нечитанных книг...
Оттого так и скуп на холстину Вермеер,
что бесценен юдоли любой золотник.

Миллион, миллион желторотых кувшинок,
та девица с письмом, работяги в окне,
мальчик с кошкой... Какую из этих картинок
я хотел бы увидеть в кладбищенском сне?..

Странно знать, что эдем этот так недалёко:
три часа самолетом — и вот он, легко!
Точно нам облаками очистили око —
и опять из кувшина течет молоко.

ХУДОЖНИК

Арону Зинштейну

Скажет: «Козочка», — вынув из мрака
новый лист, им доволен вполне...
Боже мой, не гуашь, не бумага,
не дворовый колодец в окне —
а эдем незакатной субботы,
та без меры, без краю весна,
где отложено бремя работы
и созданьям дают имена...
Не печалься, гляди веселее:
надо думать, небесный Творец
и мудрее еще, и щедрее,
и добрее земных, наконец.

* * *

Была у меня вещица —
подарок от Друга, да.
Я думал, ей не разбиться,
сияющей, никогда.

Круглее луны, чернее
полночной Невы была.
Парила игла над нею,
и музыка в ней жила.

Качалась вином в бокале
и лодочкой на волне.
В такие манила дали,
что дух замирал во мне.

Кружилась, звала и пела —
и всё о любви, любви:
печали — не наше дело,
дыши и люби, живи!

Сначала неторопливо,
а после быстрее, быстрее
к причалу волной прилива
вела от глубин морей...

И надо ж! — еще кружится,
как прежде, цела на вид, —
да вот не поет вещица,
а только шуршит, шуршит...

4 ДЕКАБРЯ 1909

Когда тростинка легкая умрет
и станет в лес огромного органа,
благословенной медью запоет
ее сквозная мыслящая рана.
И сберегут ларцы бесценных книг
все те лучи, что здесь зеницу грели...
Всё так, всё так! Перелистай дневник
певца живой, разбившей лед форели.

«Мне не хотелось в Царское — такой
дождливый день. Сбежав, перекусили
на станции. С гимназией мужской
шли. Веселились даже и шутили.
Макс затесался в женскую. А граф
всё приставал — стеснения никакого!»
...О вянущем венке, о смене трав
над капищем волнения — ни полслова.

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

Теперь всё ухожено здесь, на могиле,
но дату рожденья исправить забыли,
стесать неуместное слово «поэт».
Цветов и венков, как и не было, нет.

Присадим у бабушки купленный кустик —
обсевичек желтый, ужастик-прокрустик,
возможно, до завтра нам сданный внаем, —
и горькой в железные стопки нальем...

Сюда б гимназистам зайти после школы!
Увы, в головах их — иные глаголы:
не вьется живящим побегом твой стих
в учебниках, как и при «Софье», скупых.

Зато так щедра и внимательна Дама —
всех-всех привечает она, от Адама
и Евы. Приветит когда-то и нас,
и тех, кто впервые отправился в класс.

* * *

С. А. Лурье

Жил на свете небогатый
русский барин молодой
под летящей белой ватой
и Полярною звездой.

Невысокий, смуглолицый,
резв и волосом черняв,
жил себе, певца Фелицы
лиру звучную приняв.

Путал Геную с Женевой,
дальше Риги не бывал
и с самой Марией Девой,
греховодник, флиртовал.

И сочувствовал он смутам
европейским, нечем крыть.
И прославивший алеутом
всё хотел его убить.

И в конце концов от пули
нехорошей умер он —
так, что щеки враз надули
Царь, и Церковь, и Закон.

А потом попы-писаки,
сопричастные Столпам,
порешили - быть во мраке
стервецу, служить чертям:

*он-де Богу не молился,
он не ведал-де поста,
не путем-де волочился
он за Матушкой Христа.*

*Но Пречистая, конечно,
заступилась за него
и впустила в Царство Вечно
златоуста своего.*

ЧИТАЮЩИЙ

Читал с полудня, долго: как назло,
тогда стекло дождем заволокло.
Но я не слышал ливня за окном,
уткнувшись в том.
Его листы разыгрывали в лицах
задумчивости прописи — и вот
уже казалось: время не течет,
а чтению не дано остановиться...
Внезапно там, где слов царил разброд,
стоит: *Закат! Закат!* — во всю страницу.

Не разглядеть в подробностях, но строки,
подобно ниткам с бусинами, рвутся —
и буквы прочь, куда хотят, несутся;
сады мокры и глянцево, как блюда,
и распростерт над ними небосвод;
и солнце медлит в темень окунуться.

Но вот теперь, похоже, ночь вокруг:
соединенье, сосредоточенье,
схожденье — точно в тайное ученье,
в котором всем откроется значенье
любую малость слышать, всякий звук.

И если мир сейчас окинуть взглядом,
подняв глаза от книги, — вот он весь:
то, что внутри меня, и то, что рядом,
не делится теперь на «там» и «здесь»,
и я — одно с задворками и садом, —
и зренье так предметам потакает,
всей простоте безмерной за окном,
где Шар Земли себя перерастает
и небеса собою облакает,
что ближняя звезда — как дальний дом.

(Rainer Maria Rilke, 1901)

КАНАЛ

1

Есть городок Любим. Когда-то
и мне значок с его гербом
подарен был. Не виновата
жизнь, прошумевшая потом.

Смотри дареной львице в зубы
иль нет — покажет их сама.
А всё ж пока не сшили шубы
из нас, мы не сошли с ума.

И смысл понятен, хоть печален:
пускай нет выхода теперь,
но в рай из тех бесстыжих спален
когда-то отворялась дверь.

Мы выходили на канал
дневной из дома. И не знал
нелюбопытный зимний встречный,
что было с нами час назад:
танжерский жар и райский сад,
кисельный берег речки млечной.

В перчатке кожаной ладонь
еще хранила тот огонь —
ожог, разгоряченной кожей
ей причиненный, пыл Начал;
но ничего не замечал
спешащий по снегу прохожий...

Вот так и с Тем, о Ком в таком
контексте думать — грех, о Ком
и вспоминаешь только в этом
контексте (есть Он, а поди
найди!), и видишь: Он в груди
твоей горит нездешним светом.

Я уходил, когда светало,
и шел над сонною водой
двух рек и голого канала,
где таял месяц молодой
и желтизна плыла устало.

Туман был влажен. И горька
была в руке бутылка с пивом
из освещенного ларька
с ночным чучмеком сиротливым.
И жизнь, как смерть, была легка...

И если скажут: «Выбирай —
те ночи или Божий рай?» —
в немом отчаянье заплачу.
Да и не скажут никогда.
Ничто. И черная вода.
И ад пылающий — в придачу.

* * *

Весь Нью-Йорк, скользящий осьминогом
в щупальцах туннелей и мостов,
Лондон, Рим — весь мир, едомый оком,
за единый миг отдать готов
тех касаний, кратких и незрячих,
и невозвратимых, — всех Мане,
дюжину Вермееров горячих,
плавающих в этом же огне. —

Потому, что жемчуг умирает,
и мутнеет дряхлое стекло,
и влюбленность ветреная тает,
лишь любовь стенает тяжело
пассажиркой, запертой в каюте
сердца, уходящего на дно,
зная: мир в его утробной сути —
только там, где тесно и темно.

* * *

В саду эдемском, не в горниле адском,
от боголюбования не дыша,
над словарем египетско-аккадским
склонись, забыв о времени, душа!
Склонись, забыв о бремени. А рядом —
ее душа, с невидимым шитьем.
И щебетанье ангелов — над садом...
Вот только так! Иначе — не умрем.

Вот только так!.. А что *на самом деле*
случится с каждым, знает и дурак.
Но для того ли рылись в нонпарели,
пока рассвету не сдавался мрак?..
Он и не сдался видимости лгущей,
всё затопившей, исчезая в ней.
Раскрой кингстоны в смерть, как «Стерегущий», —
и одолей, вобрав ее полней.

* * *

Придут — и скажут с умилением:
«Возьми, Овидий, этих рыб.
Сродни твоим стихотвореньям
краса их благородных глыб:
как строки дивные — упруги,
и серебро их тяжело.
Мы их добыли среди вьюги,
разбив морозное стекло».

И рослый мальчик краснорожий
украдкой глянет из-за спин
дядьев, укутанных рогожей,
чтоб ты поверил: мир един.
...Мечты! Нет ни метемпсихоза,
ни воздаянья — видит Бог, —
ни слез, ни рыбного обоза,
ни рослых мальчиков, ни строк.

* * *

Тебя, обладавшего силой
волшебных речений, пророк,
ночной серафим шестикрылый
на темном пути подстерег.

Ухватки — развязны и грубы,
и злобен заоблачный лик.
Он смотрит насмешливо в зубы:
показывай, дескать, язык!..

Скажи ему: «Ангел небесный,
не тронь моего языка —
доднесь его сладостной песней
смирялась людская тоска.

Ему покорялись народы,
пред ним расступались не раз
морские кипучие воды,
и скалы пускалися в пляс,

иного призванья не чая,
и Божий им тешился слух!..» —
всё громче кричи — замечая,
что вестник-то попросту глух.

...Не будет пчелиного гуда,
слетавшего в сердце с листа,
кишащего буквами, — чуда, —
одна немота, немота.

* * *

Денису Датешидзе

И ответил стенаньям Иова
грозный Голос: «А ты погляди
на сверкание мира живого —
не на то, что скребется в груди.

На койота, кита, бегемота,
на небес и морей серебро.
По плечу ли такая работа
вам, болтавшим про зло и добро?!

Нет, не праведник прав, а даритель.
Дивно то, что вовне, не внутри.
И, потребный Творению зритель,
смертный трепет отринув, смотри

на несметных созвездий пыланье,
посылающих в сумрак лучи...
Ты всего лишь хотел воздаянья?
На, несчастный, вдвойне получи!

Иль минутного жалко приплода
и летящего в бездну зерна
Самодержцу бездонного свода,
сотворившему все времена?»

* * *

Бог знает кого выбирая,
как дудку из глины, поет
напевы нездешнего края —
и дудку, не думая, бьет
(а глина-то эта живая!)
и новую в пальцы берет.

И что ей за дело, безвинной...
Но пусть этот выдох и «ах»
короче струны комариной
на тех запредельных пирах —
хоть миг бы звучать окариной
в прекрасных и чистых устах!

* * *

В испанском чем-то вся. И, вдохновясь порывно,
садилась за перо, не знающее клякс.
(Да не было пера!) И: «Дивно! Дивно! Дивно!» —
Маковский восклицал. И ухмылялся Макс...

Когда ни погляди — одно и то же в мире:
коверные Бим-Бом средь суеты сует
картонные легко подкидывают гири —
и изумляют белый свет.

Но ты, моя душа, ты, душечка, такую
игрою не прельстись — к чему тебе игра?
Я помню, что тобой нашептано, рукою
записано — и чьей! — вчера, позавчера.

* * *

Очень странный театр, где ни зала
нет, ни сцены, ни лож, ни кулис, —
где ты зрителем был, где дерзала
жизнь твоя как одна из актрис.

Может быть, для тебя одного и
заведен он, а выключат свет —
всех частиц расплетутся завой,
и сойдет он тем самым на нет.

Не жалей и не бойся: не будет
ничего без тебя всё равно —
даже Герцена бунт не разбудит,
даже Петр не прорубит окно...

Только лучше — жалеть, и бояться,
и надеяться, что и тогда
будут звезды из тьмы улыбаться —
и ты вспомнишь меня иногда.

* * *

Е. В. Невзглядовой

То глаз янтарный тигра, то цветное
пятно Миро... О чем, слепец, ты! Здесь —
всё царство Веронезе неземное,
вся роскошь Тициана, Рембрандт весь.

Все опахала Бирмы и Китая,
всё оперенье рая. И уму
непостижимо: для чего такая
цветущая бессмыслица Ему?

И разве Он, бедняк из Назарета,
почти дальтоник, знавший десять слов, —
дитя Творца безудержного цвета,
раскрасившего тысячи основ?

Сомнительно. Но ты, плененный миром,
не видящий за бабочкою край
потусторонний, не мори эфиром
волшебную, иглой не протыкай!

* * *

А. Ю. Арьеву

«В пернатом каком-нибудь шлеме»
до сказочных Индий дойти,
властителем стать надо всеми,
кто в дикости жил на пути,
и в Индии див и загадок
горячкой гнилой заболеть,
и — век небожителя краток —
совсем молодым умереть.

Достойная в целом картина.
Не то — европеец блажной,
смущающий взор Константина
Леонтьева шляпой смешной,
дурацкой жилеткой и тростью,
забывший и трепет и страх...
С обидою детской и злостью
про шлем этот сказано, ах!

И прав, разумеется, злюка,
с какой стороны ни возьми:
для Шара Земного разлука
с войною и значит — с людьми.
И на европейских аренах
еще мы увидим размах
героев — в каких-нибудь шлемах,
в каких-нибудь пестрых чалмах.

* * *

Ах, не то, что в юности мечталось! —
жизнь прожил, как поле перешел;
триколор всё больше клонит в алость;
и всего существенней подзол.

Только кровь. А бело-голубого —
так, лишь два запомненных глотка.
Только почва. Если бы не слово,
жизнь моя была бы несладка.

Выходил один я на дорогу —
всё прошло, как с белых яблонь дым...
Привыкай, давай-ка, понемногу
к пустоте, в которую летим.

БАТУМ

Пароход нам задумчиво скажет: «Бату-у-ум!»
Мне помимо природных красот
в городке этом нравится вкрадчивый шум —
он лудит, точит ножницы, шьет.

Всё распахнуто настежь: отпарить, и сшить
(я таких не видал утюгов!),
и в джезвеике турецкого кофе сварить,
и побрить... Разве рай не таков?

Он таков! А иначе что проку в раю
для поэта, для часовщика?
Дай и там мне, Начальник, работу мою —
ту, к которой привычна рука.

Пусть сапожник тачает свои сапоги,
а не рыщет, как тать, по Кремлю.
Все кровавые распри изжить помоги.
И счастливой волны — кораблю.

...Жаль, что в мире реальном Твоем всё не так,
как на этом минутном лубке:
и спялят ни за грош, и взорвут за пятак,
и потонет корабль вдалеке.

* * *

Поначалу охватывал ужас —
иногда, лет с пяти, перед сном:
упершись, головой поднатужась...
нет, не сладит никто с этим дном!

Ведь не сладил никто. И не слажу
я. Не сладит никто никогда.
Боже, кто эту выложил лажу? —
навсегда, безвозвратно. Беда!..

Но с годами и страхи — тупее,
да и как воспрепятствуешь Ей? —
хоть романы- пиши эпопеи,
хоть беги из Поляны своей.

НА МОТИВ ГОТФРИДА БЕННА

Один есть сад — над Западной Двиною,
он спит во мне, он снится мне во сне,
он — как душа, он навсегда со мною,
он дышит мной, он шелестит во мне.

И там есть мост, и омут, полный ила,
беседка, холм — там в детстве я играл, —
и в зарослях забытая могила:
всё, что имел я, всё, что потерял.

И на гробнице готика слепая
одним реченьем потрясала там,
в благоуханье райском утопая,
таясь в листе: «du weisst» — «узнаешь сам».

* * *

А. С. Кушнеру

Всё, конечно, на свете конечно —
даже долгое это служенье,
рокотавшее звучно и млечно, —
это тысячелетнее жженье,
это пенье хорея и ямба:
всё сотрется, как та пирамида;
разобьется волшебная лампа,
где пылали любовь и обида.

Всё пожрется безмерной пустыней
равнодушной, бестрепетной прозы
(голос ос, миражи без глициний,
воск без меда и слезы без грезы)...
Но, быть может, о древнем вздыхая,
из немоты, что нет безответней,
кто-то вскрикнет: «О, мать Ахайя,
пробудись — я твой лучник последний!»

РОЖДЕСТВЕНО

Как у дочери мельника в нежном Межно,
в летнем ельнике страшно, темно и грешно;
и у щели нет выхода, кроме как входа;
а пещеристый берег горяч и высок;
и сквозь иглы слепит воспаленный песок;
и извилиста Оредежь женского рода...

Как бы всё это не довело до беды!
Впору выпить, козленок, студеной воды
из копытца, набитого тут родниковой
нескончаемой струйкой, — и снова вернуть
человеческий облик. И двинуться в путь
к идиллическим пастбищам Англии Новой.

2 ИЮЛЯ 1977

...«стихи, полевые цветы и иностранные деньги»...
Ultima Thule

В тот день, когда он умер, двадцать два
мне стукнуло. И мы, конечно, пили
вино — друзья, подружки. И едва
ли тени смерти праздник омрачили:
увы, природа наша такова.

Он умер там. Но мы-то были здесь.
И место называлось Ленинградом —
и «вражий голос» заглушенный весть
его садам и кованым оградом,
его дворцам еще не мог донести.

Ни бабочки, увы, ни мотылька
не занесло в распахнутые окна
в значении загробного «пока!».
И белой ночью нам не пела Прокна,
из страшного явившись далека.

Еще его мы даже не прочли
(читатель был ленив и молоденек)...
Вообрази убожество земли,
где нет в помине иностранных денег
и полевые лютики в пыли!..

Зато стихи здесь дивно хороши,
тем скрашивая утлые пейзажи, —
прибежища прижизненной души,
а может быть, Бог весть, бессмертной даже.
Унынье — грех, так лучше не грехи!

...Чем кончится?.. Окурки и цветы,
бутылки опустевшие и склянки...
Но это — до. Потом увидишь ты
всю лицевую сторону изнанки —
блаженство вечно юной наготы.

* * *

Из мраморной глыбы огромной,
из небытия — как велел
ваятель, могучий и темный, —
мы вырубим несколько тел.

Сначала — мальчишку Давида:
он весь — как бросок, как праща;
но это лишь миг — и обида
всё ищет его, трепеща.

Потом — Моисея с рогами;
но где эта зрелая мощь? —
весь мир перемерив шагами,
не сыщешь ее, не найдешь.

И только тогда понимаешь
непреодолимость тщеты —
и тоже, как все, умираешь
для вечно скорбящей Пьеты.

* * *

«И сей лекиф аттический со мною —
на белом фоне Прозерпинин миф,
весь путь теней над Стиксовой волною —
оставьте, веткой мирта осенив.

И посадите кипарис у двери,
где прежде роз живой огонь не гас,
тимьяном только белым в знак потери
украшенной теперь в последний раз.

Огонь и пепел. Тризна. Без отрады
потом барвинок герму обовьет,
и плач цевницы огласит Циклады,
но вряд ли он в мой скорбный край дойдет».

(Gottfried Benn , 1945)

* * *

У мертвых нет ни зависти, ни фобий,
ни детских страхов, — потому они
способны различить из-под надгробий
еще не очевидные огни —
расслышать то, чего не слышат эти
«пять-шесть» живых, зачуханных своей
звучащей жизнью на чужой планете; —
и, значит, те, кто умерли, — живей.

Их, кстати, больше во сто крат: органу
подобен их ветвящийся раструб.
Перебирать регистры не устану
их напряженно слушающих губ,
молчащих неумолчно в мраке ночи
обетованной. В мире нет пути
созвучья и Распятия короче.
И им, хоть плачь, тебе дано идти.

ПАСТЕРНАК
СМОТРИТ НА КРЕМАЦИЮ МАЯКОВСКОГО

Что сталевар, сквозь слюдяное
окошко, с искоркой в глазу,
глядеть на всплески злого зноя
(как в летний день — на стрекозу),
слезу всамделишно роняя
от жара, бьющего в зрачки, —
что ждет бессмертье, твердо зная,
за адом огненной реки.

Ведь молибдена и вольфрама
добавит Сталин в эту сталь.
Жить нужно яростно и прямо
и слепо вглядываясь вдаль.
Еще сыграют марш солдаты.
И в белом венчике из роз —
в непоправимый час расплаты —
причалит к берегу Христос.

* * *

...Никому, написано, не сказали.
Александр Леонтьев. (Мар.16, 1—8)

Воскрес ли, не воскрес — на совести
Его апостолов осталось.
Но нет на свете лучшей повести,
рождающей любовь и жалость.

Да, новизна невероятная
обычно людям не по нраву:
за Зевса приняли и Ермия
критяне Павла и Варнаву; —

а Он из-под венца тернового
сулил им верную дорогу
к всепостиженью слова нового —
«Любовь»... Умнели понемногу.

И ты когда-нибудь, орающий, —
поняв, всё — прах, что жнешь и сеешь
в безлюбой, вечноумирающей
Природе, — тоже поумнеешь.

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Он шел, неотличимый от олив,
листвою серой никнувших на склоне,
весь запыленный, в гору, уронив
лицо в испепеленные ладони.

Всё кончено. И всё предрешено.
Иду, как *должно*, но уже вслепую —
твердя «Ты есть», хотя во мне темно
и о Тебе всё горше я взыскую,

не отыскав. Ни в зарослях маслин.
Ни в сердцах. Ни в сердцах. Ни в толще глин.
Не отыскав Тебя. Иду один.

Совсем один, с горой людских обид.
Я совладал бы с нею, если б слит
с Тобою был, — но я забыт, забыт...

«Спустился ангел...» — сказка сочинит...

Ах, кабы ангел! Опустилась ночь —
и равнодушно кронами дышала.
Ученики уснули где попало.
Ах, кабы ангел! Опустилась ночь.

И эту ночь не отмечали знаки —
как еженощно, как вчера.
Лежали камни. Замерли собаки.
Всё в беспробудном, беспросветном мраке,
чего-то ждущем, спало до утра.

Нет, ангел к робко шевелящим ртами
не сходит, ночь не станет дня белей
для них. И те, кто медлят у дверей,
навек будут прокляты отцами
и вырваны из чрев у матерей.

(Rainer Maria Rilke, 1906)

* * *

За нумизматикой

Задорого купил монету.
на ней — орел и лик царя.
Особенного смысла нету
в монете, честно говоря.

Царя, как всякого, убили,
орла стесали, где смогли...
Что остается, кроме пыли,
от нас на плоскости земли?..

Орел двуглавый, одноглавый,
да хоть трехглавый, хоть дракон, —
и тот неумолимой лавой
слепого времени сметен.

* * *

Возьми в советчики кота и петуха,
а критику забудь — она всегда глуха,
тупа, бессмысленна, глупа, подслеповата, -
в коте иль петухе ищи себе собрата, -

так учит нас поэт, которому нельзя
не верить — в полумрак сошла его стезя:
лишь гений возмужал, как публика остыла...
Коту и петуху читай стихи, чудила!

ОБМЕН

ЧУЖЕСТРАНЦУ

Хансу Боланду

Как с холста небесный взглянул Меняла —
так вино и стало виной:
чем заплатим мы за дугу канала,
за свеченье ночи хмельной?
За пустую римскую прю о Сыне?
За дородно-зримый, к стыду,
шорох речи?.. Чую, влекут к осине
поцелуи в темном саду...

Но зачем Ты в наше сошел болото,
где любой собою лишь пьян,
где терпима разве что позолота
(жаль, не мальчик я Иоанн!),
где серебрянки звяканье райских арий
обрывает тщетную нить?..
Укажи-ка, Господи, на денарий,
чтоб я понял: нечем платить.

КНИГОЛЮБУ

Григорию Амелину

Там, наверху, где кончаются кроны, —
как лицемерье листвы, травести
хвои, внутри глинобитной короны
заросли книг начинают цвести.
И хлорофилл целлюлозных волокон
око слепит миллионами ватт,
а заливающий череп из окон
свет — основательно подслеповат...

Не потому ли так сладок и хмелен
мир, что обману подобен обмен:
снежной сиренью намелен *Емелин*
летней зимы тополиный дольмен?
Метафорический, взятый незнамо
где алкоголь!.. Но придонней травы
помесь Ивановской башни с «Динамо»
в семиотической яшме Москвы.

АДРЕСАТУ В ПРОВИНЦИИ

Кириллу Кобрину

Ремешок моста, словно из секс-шопа
взятый, съехал на островок небритый...
Так и хочешь щелкнуть курбетом — «оппа!
аппа!» — Волге, стыдно с Окою слитой.

Заводские трубы, что взвод служилых,
на музейных ню розовато-сонных
распустивший нюни, с Надымом в жилах,
распирают синьку небес кальсонных...

Нежный Нижний! Да: тем нежней, чем ниже.
Русский Лесбос, юз цветовода злого...
Но не так ли кожу чужую лижет
наш язык, как нежит и нижеет слово?

Так... Скользи ж в межсапфие тихим сапом —
сиротой казанскою хлюпай, чтобы
бэби обе жадным достались лапам —
весь соблазн, и Азии и Европы!

И скажи *кириллицей* напоследок:
«От Амура хмурого до Онеги
я, имевший лексику так и эдак,
монумент чудовищнейший ехегі».

ФИЛОЛОГИИ

Пускай начетчица распишет
все переключки наших строк -
ей будет всё же невдомек,
зачем узор роскошный вышит.
Услышит только тот, кто слышит:
там, в тонких путах, дышит Рок -
и рая слабый фитилек
хмельным дыханием колышет.

ПОЭТУ

Е. Б. Рейну

Не Зевс, а рой ворон клевать больную печень
на огонек твой прилетит.

Сюжет извечен:

о высших доблестях заботится петит —

жужжа, зудя, шипя, захлебываясь в гуле
(блин, лебединый стан!)...

А мудрый Карамзин уже давно в Стамбуле,
и с ним беседует султан.

СОБРАТУ

Алексею Машевскому

Тобою вбитый крюк, бывало,
спасал над пропастью меня.
И Муза с нами ночевала
(пусть это — байка и фигня!).

Бог весть, зачем мы лезли в гору —
задор, ребяческая блажь?
Но наконец открылся взору
пейзаж невиданных пропаж.

Такая Шамбала, Гондвана,
Эдем, сплошное Фонтенбло...
Ан от виденья, как ни странно,
на льдистой выси не тепло.

...Но я — про крюк. Тут вот что важно:
как, например, вернуть заем,
так, скажем, более отважно —
вбить крюк, не вешаясь на нем.

Оставить алчущим соблазна
лишь след — смелей, как ни верти,
чем стыть скелетом безобразным
к алмазам страшным на пути.

ЛИРНИКУ

Александру Леонтьеву

Застя дурманом сознание и дымом
чужезычия выстелив слух,
только и можно представить любимым
и дружелюбным мирок оплеух —
сумрак *тосканский*, обид *тристиарий*,
от часу к часу чернеющий свет...

Сердце, тебя ль несводящихся арий
убережет леденящий дуэт?
Чем черноморским качаниям хора,
пеннорожденьям порожних Камен
можем ответить мы, кроме укора,
неравноценный лаская обмен?

КИФАРЕДУ

Алексею Кирдянову

Тираноубийцы, в Эвклидовой клетки
мы глаз оторвать от червивой земли
в саду не могли... Параллельные эти
скрещались, зрачки опаляя, вдали...

Когда бы, слепец, геометрии глупой
поверил, на злости и доблести ось
Тоску нанизал я... но, слитые лупой,
лучи прожигали бумагу насквозь.

Пусть зависть тому остается на долю,
кто держится маленькой правды дневной —
маршрута зерна — и ласкает неволю.
А мы погуляем по Волкову полю —
в обнимку, строфой неделимой одной.

P. S.

В каком-нибудь мае, июле
очнуться от шумного дня —
чтоб ангелы снова дохнули
ночной немотой на меня, —
в каком-нибудь марте, апреле —
не здесь и не в райской глуши, —
а так, чтобы звезды горели
в полуденном небе души!

В каком-нибудь августе, мае
среди неживой суеты
три дня проблуждать, понимая,
что есть в мирозданье лишь *Ты*, —
и, встав на четвертый из тлена,
шептать воскрешенной любви:
«Живи же! *Ты* благословенна!
Ты благословенна! Живи!»